



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ  
УДК 165.0

DOI: 10.18287/2782-2966-2021-1-4-29-38

Дата: поступления статьи: 18.10.2021  
после рецензирования: 02.12.2021  
принятия статьи: 21.12.2021

**А. Нордманн**

Институт философии Технического  
университета Дармштадта,  
г. Дармштадт, Германия  
E-mail: nordmann@phil.tu-darmstadt.de  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2173-4084>

## Языковое мышление и мышление языка у Георга Кристофа Лихтенберга\*

**Аннотация:** Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799) считается – наряду с Готхольдом Ифраимом Лессингом, Моисеем Мендельсоном, Иммануилом Кантом – одним из наиболее значительных философов немецкого Просвещения. При жизни он был известен как профессор физики в Гёттингене, автор научно-популярных сочинений, остроумный спорщик. Его продолжающееся по сей день философское влияние связано с посмертно опубликованными черновыми тетрадами. Они объединяют в себе бесчётное количество наблюдений и замечаний и кладут начало линии традиции философской афористики, которая была продолжена Шлегелями, Новалисом, Шопенгауэром и особенно Людвигом Витгенштейном. Характерная черта этой философской афористики заключается в том, что цель языкового выражения – не просто меткая формулировка, но способ подтолкнуть и направить движение мысли. В настоящей статье анализируются и развиваются характеристики языкового мышления Лихтенберга. Поводом для осуществленного в тексте движения мысли о языковом мышлении Лихтенберга послужил мысленный эксперимент Лихтенберга, в котором речь идёт о таком языке, «где ... любая погрешность против истины была бы также и грамматической» (Georg Christoph Lichtenberg – Aphorismen und andere Sudeleien 2003).

**Ключевые слова:** Георг Кристоф Лихтенберг; теория языка; афористическое мышление; философия Просвещения.

**Цитирование:** Нордманн А. Языковое мышление и мышление языка у Георга Кристофа Лихтенберга // Семиотические исследования. Semiotic studies. 2021. Т. 1, № 4. С. 29–38. DOI: <http://doi.org/10.18287/2782-2966-2021-1-4-29-38>.

**Информация о конфликте интересов:** автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Нордманн А., 2021 – профессор института философии, Технический университет Дармштадта, 64289, Германия, г. Дармштадт, Каролиненплатц, 5.

SCIENTIFIC ARTICLE

**A. Nordmann**

Institute of Philosophy Darmstadt Technical  
University, Darmstadt, Germany  
E-mail: nordmann@phil.tu-darmstadt.de  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2173-4084>

## Georg Christoph Lichtenberg's aphoristic thinking\*\*

**Abstract:** Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) was one of the most prominent Enlightenment figures in Germany - alongside with Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, Immanuel Kant. During his lifetime he was best known as a professor of physics, popularizer of science, witty mind, and thought-provok-

\* Перевод выполнен Натальей Витальевной Барабановой, Александром Юрьевичем Нестеровым. Выходные данные первой публикации статьи: Alfred Nordmann „wo ... jeder Schnitzer gegen die Wahrheit auch ein Grammaticalischer wäre“: Lichtenbergs Sprachdenken, Lichtenberg-Jahrbuch 2017, Heidelberg: Winter, pp. 49–63. Для настоящего издания текст статьи был доработан автором.

\*\* Translated by Natalia Vitalievna Barabanova, Alexander Yurievich Nesterov. First publication of this article: Alfred Nordmann „wo ... jeder Schnitzer gegen die Wahrheit auch ein Grammaticalischer wäre“: Lichtenbergs Sprachdenken, Lichtenberg-Jahrbuch 2017, Heidelberg: Winter, pp. 49–63. For this edition, the text of the article has been finalized by the author.

ing essayist. His enduring philosophical legacy is based on his posthumously published so-called wastebooks (rough notebooks) which gather together countless observations and remarks and which founded a tradition of aphoristic writing that was continued by the Schlegel brothers, Novalis, Schopenhauer, and especially Ludwig Wittgenstein. The characteristic feature of the aphoristic method is not to pointedly sum up or to cast a thought in a concise witty form. Instead, the aphorism provides a pregnant formulation that occasions a movement of thought. This paper picks up on extant characterizations of Lichtenberg's Sprachdenken (thinking of, by, and through language) and seeks to develop them further. The following movement of thought is occasioned by one of Lichtenberg's playful remarks which suggests the idea of a language in which "any blunder in matters of truth would be a grammatical blunder as well".

**Key words:** Georg Christoph Lichtenberg; theory of language; aphoristic thinking; Enlightenment philosophy.

**Citation:** Nordmann, A. (2021), Georg Christoph Lichtenberg's aphoristic thinking, *Semioticheskie issledovanija. Semiotic studies*, vol. 1, no. 4, pp. 29–38, DOI: <http://doi.org/10.18287/2782-2966-2021-1-4-29-38>.

**Information about conflict of interests:** author declares no conflict of interests.

© Nordmann A., 2021 – Professor of the Institute of Philosophy, Darmstadt Technical University, 5, Karolinenplatz, Darmstadt, 64289, Germany.

## Введение

Физик, эссеист и философ Георг Кристоф Лихтенберг сформулировал идею языка, «где ... любая погрешность против истины была бы также и грамматической» (Lichtenberg 2003). Эта идея совершенно сбивает с толку. Тот, кто с ней знакомится, сначала испытывает любопытство, переходящее в удивление или в скептическое предубеждение, чтобы, в конечном итоге, почувствовать, что он стоит перед непростой интеллектуальной задачей. Именно такой опыт и будет нас интересовать в последующем. Речь идет о двух или трёх точках зрения, которые возникают под воздействием вынесенного в заголовок замечания, запуская тем самым языковое мышление.

«Где ... любая погрешность против истины была бы также и грамматической» (эта часть предложения относится к более обширному контексту, который в дальнейшем постепенно станет понятен. Он взят из более старой версии Прологомен к основной лекции, которую я цитирую по изданию Ульриха Йоста (Lichtenberg 2003)). Предложение Лихтенберга вызывает любопытство, оно одновременно пробуждает интерес и удивление: мы должны представить себе нечто, предположительно язык, на котором невозможно высказать что-то неистинное, не сделав при этом очевидной ошибки. Это был бы язык, на котором было бы невозможно сказать что-то неверное. Эта идея кажется прекрасной, и ее можно было бы отнести к разряду утопий, но можем ли и хотим ли мы действительно вообразить себе такой язык для обычного применения?

Вместе с заголовком, особенно вместе с понятием «языковое мышление», всплывает обескураживающий и, возможно, продуктивный двойной смысл. В контексте подзаголовка и идеала уготовленной для истины грамматики, «языковое мышление» подразумевает образ мысли Лихтенберга о языке, его взгляды на возможности и границы языка. С такого заглавия могла бы начинаться гла-

ва, посвящённая Лихтенбергу как философу языка. Однако «языковое мышление Лихтенберга» подразумевает по большей части нечто иное. Оно обозначает специфику его подхода, его афористический метод, его остроумие: то, как Лихтенберг мыслит в субстрате языка, как он мобилизует язык (Sprachliches), чтобы породить новые идеи и озарения. Это значение выражения хорошо известно, оно послужило заголовком как минимум одной интересной работы (Roggenhofer 1992). Относительно двойного смысла «языкового мышления» возникает вопрос, о чем собственно должна идти речь? Связана ли каким-то способом философия языка Лихтенберга с его методом, то есть с осуществлением его мышления, как это проявлено, в первую очередь, в его черновых тетрадах?

С этим вопросом проясняется, наконец, задача или принимаемый ради эксперимента вызов. Предварительно раскрывается и построение эксперимента: от на первый взгляд очевидного расположения слов рядом друг с другом, содержащего, при более подробном рассмотрении, двойкий смысл (Вспомним: «Следует экспериментировать с идеями» (Lichtenberg 2003)). Он может оказаться продуктивным вызовом, пусть и в рамках осознанной, будем надеяться, не слишком педантичной дословности и проявленного во время эксперимента упорства. (Исписана уже целая страница, а мы все еще не продвинулись дальше заголовка.) (Это также отдаленное эхо: к самым объемным из любимых книг Лихтенберга относился роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (1759–1767), действие которого едва выходило за пределы дня рождения Шенди.)

## Краткий обзор

Так же внимательно, как и прежде, мы будем продолжать попытку понять языковое мышление Лихтенберга дословно, следуя за движением мысли, заданным заглавием в качестве экспериментальной ситуации. Почему мы говорим о мышле-

нии Лихтенберга и его литературном методе как о «языковом мышлении» – что под этим подразумевается, почему это уместно и почему об этом даже пишут книги?

Далее этот вопрос ведет к скептическим взглядам Лихтенберга на язык. Философы постоянно их цитируют, а особое, центральное значение они приобретают для Людвиг Витгенштейна. Согласно этим взглядам, наш обыденный язык не имеет философского характера, то есть он функционирует не так, как того хотели бы философы. Среди прочего еще и потому, что в употребление языка вплелись предрассудки, потому что имена вещей передают из поколения в поколение непроверенные представления, потому что существует бесчисленное количество многозначностей. Таким образом, любая порядочная философия обречена на то, чтобы философствовать на беспорядочном нефилософском языке, языке «нефилософии».

В свете этого скорее скептического диагноза напрашивается вопрос, был бы философским такой язык, на котором невозможно сказать что-либо неистинное, не нарушая при этом правил грамматики. Возможно, воображаемый Лихтенбергом язык удовлетворяет требованию чистоты и беспредпосылочности конструкции и более не воспроизводит предрассудков неотрефлексированной народной философии, его не отягощает никакой исторический балласт. Возможно, подобный язык оказался бы языком философии и языком для философии.

Этим исчерпывается первая точка зрения на замечание Лихтенберга: согласно ей, оно представляет нам языковую утопию. Вторая точка зрения на замечание Лихтенберга показывает эту мечту в виде кошмарного сна: не положит ли такой язык, на котором можно сказать только истину, конец мышлению и тем самым мыслям и их выражению? Возможно, языковое мышление и мышление языка Лихтенберга таким образом ведет нас от мечты через кошмар к чему-то третьему, но не в смысле диалектического синтеза первого и второго. Утопия философского языка в таком случае сохранится, но будет служить мерилем истины, которая не является строго, хладнокровно и бесстрашно, но учитывает и уважает уместное. Кто несет факел истины сквозь толпу, рискует не только собой, ему следует проявлять осторожность, чтобы не спалить дотла длинные бороды традиции. А тот, кому есть что возразить против пути, выбранного толпой, будет понят лучше, если он не будет стоять на месте и выкрикивать сзади, а будет шествовать впереди и участвовать в дискуссии (это вариации второго замечания Лихтенберга: «Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-нибудь бороды» (Lichtenberg 2003) и «Если у кого-то есть возражения против пути, по которому пошла толпа, то его лучше поймут, если он будет в центре

общества, нежели если он будет стоять позади и выкрикивать вслед» (Lichtenberg 1794)). Это была бы мечта о языке, в котором погрешность против добрых нравов языкового сообщества одновременно была бы и погрешностью против истинности: нам нельзя быть слишком философичными, чтобы мы были в состоянии образовывать и просвещать себя.

### **Выражать мысли – языковое мышление Лихтенберга**

Завершим предварительный обзор движений языка и мысли, спровоцированных нашим заглавием и замечанием Лихтенберга. Теперь это движение следует осуществить ещё раз медленнее, но при этом же намного быстрее. Оно начинается с вопроса, почему мы завели разговор о языковом мышлении Лихтенберга, если при этом имеем в виду его афористический метод, его экспериментальное движение мысли, его мышление возможного, оформленное в сослагательном наклонении. Каждое из этих обозначений проблематично в той мере, в какой оно берёт себе Лихтенберга в союзники, понимая его – с большой долей вероятности несоразмерно ему самому – как инициатора или исходную точку традиции, то есть ретроспективно и тем самым анахронистски. То, что перечисленные выше обозначения часто используются параллельно, а не противопоставляются друг другу, подчеркивает, что речь здесь идет о единой, хотя, возможно, и размытой линии традиции, которая по-разному была описана в работах Иоганна Роггенхофера, Смейла Репика, Поля Рекадта, Франца Маутнера, Альбрехта Шёне и Стерна, Хайнца Гокеля и Герхарда Нойманна ((Arntzen 1971, p. 65-78); (Berendsohn 1912); (Gockel 1973); (Mautner 1976a); (Mautner 1976b); (Neumann 1976); (Rapic 1999); (Requadt 1948); (Roggenhofer 1992); (Schöne 1982); (Stern 1959)). В целом эти способы прочтения были отрефлексированы Хайнцем Крюгером (Krüger 1956). Несмотря на признаваемую амбивалентность автор этих строк причисляет себя к инклюзивной традиции (Nordmann 2005)). Она охватывает последовательность авторов, начиная с Лихтенберга, объединяет Новалиса и Шлегелей, Шопенгауэра и Ницше, достигает апофеоза ((Janik and Toulmin 1984), (Gray 1986) и (Szczeniak 2007)) в кризисе языка в конце XIX века, в «Вене Витгенштейна», и продолжает жить до сих пор. Эта линия опирается на философскую дефиницию афоризма или афористического мышления и письма, которая сильно отличается от той же дефиниции в языкознании и литературоведении. Если последняя характеризует афоризм краткостью формы и сжатостью до одного отдельного стоящего предложения, то философское определение подразумевает движение мысли, в котором осуществляется взаимодействие прозрения

и прояснения: афоризм провоцирует второй и третий взгляд, порождая различные перспективы видения. То, что объединяет Лихтенберга, Нова-лиса, Шлегелей, Ницше, Шопенгауэра, Крауса и Витгенштейна, есть метод, а именно специфический способ выражения, заключающийся не в том, чтобы что-то высказать, а в том, чтобы запустить незавершенное движение мысли.

Конструкция этой традиции языкового мышления подразумевает в качестве основания метода философскую идею, характерную для позднего XIX века и для Витгенштейна, которую можно найти и у Лихтенберга. Эту идею Готфрид Габриэль обобщил следующим образом: для названных и многих других авторов «писать афоризмами» значит то же самое, что и «выражать мысли» (Gabriel 1991, p. 26–29). Что иное может скрываться за этим сравнением, если не представление о том, что мысли нельзя просто высказать, их приходится выражать особым способом, что они – нечто иное, нежели факты, наблюдения и данные опыта, и потому мысли – не духовные предметы, которые мы можем именовать таким же образом, каким мы именуем предметы мира.

Часто для языкового мышления Лихтенберга значимым считается своего рода языковое сомнение и сознание границ языка, характерные для языкового мышления и философской традиции. Так как соотношение сознания, языка и мира проблематично, оно не может быть предпослано философствующему мышлению. И так как мысли не являются определенными, четко очерченными духовными предметами или перечислимыми содержаниями сознания, они выпадают из обычного модуса говорения и обозначения в предметном мире. Чтобы выражать мысли, требуются иные средства, и никакое иное средство, кажется, не подходит для этих целей лучше, чем сочинение афоризмов, что, разумеется, требует ясного представления о том, чем афористическое принципиально отличается от простого высказывания о том, каковы вещи. К этому представлению мы приблизимся лишь в конце наших наблюдений. Пока зафиксируем в качестве тезиса, что интерес к языковому мышлению Лихтенберга имеет философские предпосылки: языковое мышление испытывает трудности с выражением философских мыслей на языке, который не создан для этого и к тому же не в состоянии именовать или высказывать мысли так, как мы проговариваем вещи или факты.

#### **Философия на языке нефилософии**

Вполне может быть, что построение линии философской традиции, берущей начало в языковом мышлении Лихтенберга, анахронично. Йоганнес Роггенхофер, например, пишет, что Лихтенберга следовало бы сначала «развитгенштейнить», прежде чем пытаться характеризовать специфику

его языкового мышления (Roggenhofer 1992, p. 66–72). Я поступаю здесь иначе и рассматриваю именно Лихтенберга, благодаря которому появилось это, пусть даже и анахроничное построение, именно Лихтенберга, который пытается философствовать в условиях скепсиса к языку, и который поэтому может считаться предшественником Витгенштейна, и в действительности оказал определяющее влияние на философию Витгенштейна.

В качестве предварительной ступени своих «Философских исследований» Витгенштейн написал так называемую «Большую рукопись» [“Big Typescript”], которая содержит главу с программным названием «Философия». В ней Витгенштейн занимается непосредственно Лихтенбергом и вопросом о том, как вообще возможно выражение философских мыслей. Витгенштейн недвусмысленно подчеркивает, что в своей критике языка он использует Лихтенберга в качестве образца. Для этого он цитирует два расположенных рядом отрывка из «Черновой тетради Н», высоко им ценимых ((Wittgenstein 2000) Витгенштейн цитирует раздел Н 146, отсылки к Н 151 осуществляются имплицитно: «Люди глубоко вросли в философские, то есть в грамматические коллизии ... Необходимо, так сказать, перегруппировать весь их язык. – Но этот язык так возник, потому что люди имели склонности – и имеют – так думать. У языка для Всех – одни и те же ловушки, гигантская сеть прекрасно сохраняющихся ложных путей»). Они вскрывают два философских предрассудка, заданных в языке и с помощью языка и являющихся следствием разделения на объект и субъект и грамматики предикации.

«Я и себя. Я чувствую себя – это два предмета. Наша ложная философия заключена в тело языка; мы, так сказать, не можем заключать, не делая ложных заключений. Мы не принимаем во внимание, что говорение, не важно, о чем, – это и есть философия. Каждый, кто говорит на немецком, – народный философ, а наша университетская философия заключается в ограничении таких людей. Вся наша философия – это корректура употребления языка, то есть корректура философии, и кстати, наиболее общей...» (Lichtenberg 2003).

Познавать внешние предметы – это противоречие, человеку невозможно выйти из себя наружу. Если мы верим, что мы видим предметы, то мы видим лишь себя. Мы, собственно говоря, ни о чем не можем узнать в мире, кроме как о самих себе, и об изменениях, которые происходят в нас. Точно так же мы не можем чувствовать для других, как иногда говорят; мы чувствуем только для себя. Это утверждение звучит жестко, но оно не является таковым, если его правильно понимать. Не любят ни отца, ни мать, ни жену, ни ребенка, но лишь приятные ощущения, которые они нам доставляют. Это всегда льстит нашей гордости и



нашему самолюбию. И иначе невозможно, а кто отрицает это утверждение, очевидно, его не понял. [...] Язык изобрели до философии, и это то, что осложняет философию, особенно когда хочется сделать её понятной для других, тех, кто сам не много думает. Философия, когда она говорит, всегда вынуждена говорить на языке нефилософии (Lichtenberg 2003).

### Отдельные случаи

Что означает это скептическое к языку начало для философии? Ответ витает в воздухе и направляется сам собой: философия должна писать афоризмами, если она хочет выражать мысли, так она должна найти путь, который с помощью языка выведет за пределы модуса речевого высказывания, утверждения, констатации. Беспорядочный язык нефилософии есть тем самым неотменяемый аспект *conditio humana*, философия вынуждена его признавать. Этот язык устанавливает непреодолимые для нее границы и составляет её реальность, при этом побуждает к языковому мышлению в форме импульса, сопротивления и материала. Думается, что философия ни в коем случае не обязана смиряться с недостаточностью языка, скорее она вынуждена конструировать задуманный на философских принципах идеальный язык, чтобы нам, например, не приходилось с помощью языка скрывать, что мы, собственно говоря, любим не наших родителей, а лишь наши чувства. Такой язык, ограниченный исключительно доступной действительностью ощущений и чувственных впечатлений, был бы более честным, уместным и осознанным, нежели язык, который ошибочно мнит, будто относится к внешним предметам, а сам делает так, как если бы то, что мы на самом деле любим, было бы нашими родителями.

На первый взгляд, – правда лишь на первый, – замечание Лихтенберга, вынесенное в заглавие статьи, кажется предложением пойти по последнему из намеченных путей и помечтать об идеальном языке, на котором могли бы быть высказаны истины не только философии. Кто понимает этот язык и владеет его грамматикой, тому запрещено и совершенно невозможно перейти от нормальных, осмысленных, истинных предложений к бессмысленным и ложным высказываниям.

В заключение это замечание Лихтенберга должно быть рассмотрено с точки зрения того, что в нём кажется высказанным на первый, второй и третий взгляд, то есть не в качестве высказывания, а в качестве движения мысли, которое – согласно определению афористического у Лихтенберга, данного Дж.П. Стерном, – характеризуется именно тем, что предоставляет вторую и третью точки зрения ((Stern 1959, p. 189–226). («Литературное определение афоризма»), и там особенно о

значении «второго взгляда» (“second look”), который обязан аутентичному характеру афоризма, то есть продуктивному вопросу: «Это действительно так?» или «Это возможно?», который возникает у читателя, удивляя и озаряя. (Stern 1959, p. 202)). То, что по-немецки называется «отдельным замечанием» (*verstreute Bemerkungen*), Стерн схватывает как «scattered occasions», то есть в качестве подходящего момента, повода или причины рефлексии. В нашем случае и в случае замечания о погрешностях против истины с каждым новым горизонтом расширяется угол зрения на окружающий текст, открывается всё больше «до» и «после» этого замечания, выделявшегося поначалу афористичной краткостью, а затем оказавшегося остроумным поворотом в изменчивом движении мысли.

### Грёзы разума

«Поэтому я уже давно мечтаю о том, чтобы существовал такой язык, на котором невозможно было бы сказать ложь, или, как минимум, в котором любая погрешность против истины была бы также и грамматической» (Эта часть предложения относится к более обширному контексту, который в дальнейшем постепенно станет понятен. Он взят из более старой версии Прологомен к основной лекции, которую я цитирую по изданию Ульриха Йоста (Lichtenberg 2003, p. 65–67)).

На первый взгляд, к этому нас подводят предыдущие рассуждения, мы имеем здесь дело с выходом из ситуации, в которой философия вынуждена говорить на языке нефилософии. Если бы этот язык не проистекал из сна или мечты разума, разве был бы он подлинно философским языком, как его представлял, скажем, Лейбниц, и еще в большей степени логический позитивизм XX века?

Лихтенберг оставляет два указания для уточнения своей идеи. Первое обнаруживается в «Черновой тетради G» и показывает, что ему не чуждо то, о чем он здесь говорит, что ему самому воображаемый идеальный язык представляется чрезвычайно близким:

«Кто еще не овладел наукой настолько, что любую погрешность по отношению к ней он чувствует так же остро, как грамматическую ошибку в родном языке, тому еще многому нужно учиться» (Lichtenberg 2003).

Конечно, погрешность «против науки» может считаться за ошибку в родном языке только в очень формализованных, аксиоматических науках, таких, как геометрия Евклида или механика Ньютона. И всё-таки даже для учения об электричестве XVIII века справедливо утверждение, что «овладел наукой» только тот, кто умеет проводить определённые различия, производить и классифицировать феномены, то есть культивирует обращение с предметами и понятиями по строго установлен-

ленным правилам. Второе указание Лихтенберга проясняет, каким образом физик или математик обосновывает возможность и, вероятно, даже необходимость такого говорения и мышления в науке, которое исключает ложное или немислимое:

Разумный муж может сказать «дважды два будет пять» (следовало бы сказать – может произнести), но никогда он этого не сможет подумать.

Поэтому я уже давно мечтаю о том, чтобы существовал такой язык, на котором невозможно было бы сказать ложь, или, как минимум, в котором любая погрешность против истины была бы также и грамматической.

В нашем обыденном языке можно образовать любые предложения. Некоторые из них высказывают что-то истинное, другие – что-то ложное, некоторые – что-то мыслимое, некоторые – что-то немислимое. До тех пор, пока речь идет лишь о том, чтобы строить грамматически правильные предложения, нет существенной разницы между «два плюс два – четыре» или «два плюс два – пять», или «два плюс два – 123». Конечно, можно помыслить себе такой язык символов, в котором знаки 2 и 2 комбинируются не столь произвольно, и никогда так, чтобы при сложении 2 и 2 получилось бы 5. Если бы, например, числа символизировались с помощью определенного числа штрихов, и если бы «плюс» в задании соответствовал бы указанию написать соответствующие символы просто в один ряд друг с другом, тогда единственный вариант «II плюс III равно IIII» соответствовал бы заданным правилам образования предложения, а погрешность против истины была бы одновременно и погрешностью против грамматики. Невозможно оказалось бы теперь не только помыслить или сказать «II плюс II равно IIII» – это в любом случае, – но даже и написать это можно только грамматически правильно.

Логика и математика сами по себе являются чем-то вроде грамматики мышления, и если бы в этих сферах оказалось возможным сделать нарушение тривиальных истин символически заметным, нас бы это не удивило. Почему же Лихтенберг считает этот пример значимым? Действительно ли у него речь идет только о том, что тут и там существуют последовательные формализации такого рода, что их можно считать идеальным языком? Заботят ли его меры языковой предосторожности, которые должны предотвращать переход от правильно образованных предложений с осмысленным высказыванием к правильно образованным предложениям, не способным ничего высказать – например, переход от «дважды два – четыре» к «дважды два – пять», от «этот угол можно поделить на две или четыре равные части с помощью циркуля» к «этот угол можно поделить с помощью циркуля на три равные части» ((Wittgenstein 1976, p. 88–89)). Это было бы критикой языка, как

её осуществляет Витгенштейн от имени Лихтенберга. Она показала бы, что то, что ведёт нас по ложным философским тропам, навязывая вопросы, на которые мы не можем осмысленно ответить – «почему, собственно говоря, дважды два будет именно четыре?» или «нет ли возможности делить угол с помощью циркуля на три равные части?», и есть сам язык.

Но если мы еще немного расширим угол зрения, то окажется, что для Лихтенберга речь идет о чем-то еще более принципиальном: в меньшей степени об искушающей силе языка, но в большей – о легкомысленном, бездумном говорении, которое использует возможности языка, чтобы в игре с аргументами занимать позиции и формулировать утверждения, которые никто не может полагать серьезными. Соответственно, на кону не только тот факт, что язык сам по себе не философичен, скорее подчинен этике дискурса, но и тот, что мы иногда говорим не то, что полагаем. Возможно ли, скажем, в рамках введения в естественные науки серьезно усомниться в том, что природу всегда следует рассматривать с точки зрения причинности? Тот, кто формулирует философский тезис «всё, что мы наблюдаем, может происходить беспричинно и не иметь никакого значения», тот не знает, что говорит, он лишь злоупотребляет возможностями пустого возражения и готового отрицания, которые предоставляет язык.

«Такой мир, как этот, возник без причин», – это можно сказать, но нельзя этого подумать и нельзя в это поверить, это предложение – не связь мыслей между собой, но лишь рядоположение символов. Разумный муж может сказать «дважды два будет пять» (следовало бы сказать – может произнести), но никогда он этого не сможет подумать.

Поэтому я уже давно мечтаю о том, чтобы существовал такой язык, на котором невозможно было бы сказать ложь, или, как минимум, в котором любая погрешность против истины была бы также и грамматической.

Итак, в свете вопиющей лёгкости злоупотребления языком в качестве произвольной связки символов Лихтенберг надеется, что может существовать язык, который не допустит такого злоупотребления. И вот уже появляется утопическая картина идеального языка, формулируемая большей частью в качестве противодействия или ответа на человеческое зло. Однако это зло можно устранить совершенно иным образом, например, посредством речи, которая берёт на себя ответственность за сказанное, которая просвещена, то есть отрефлектирована. (С учетом этой последней выдержки из текста становится ясным ярко выраженное кантианство Лихтенберга. Тот, кто приписывает возникновение мира беспричинности, а не естественно-научной каузальности, тот с тем же

успехом мог бы утверждать, что дважды два пять. Кто отрицает условия возможности осуществления всякого познания природы, тот отрицает нечто настолько же тривиальное и основополагающее, как элементарные высказывания логики и математики.)

### Кошмары разума

То, что сон или грёзы разума порождают чудовищ, мы знаем из известной гравюры Гойя. Это верно и для мечты о философской реформе языка, существовавшей и до, и после Лихтенберга, как, например, у химика Антуана Лавуазье, инициировавшего проведение фундаментальной реформы языка химии. Об этом языке, конечно, нельзя сказать, что на нём могут быть сформулированы исключительно истины, однако его грамматика настолько строга, что лишь очень хорошие претенденты на истину соответствуют грамматическим предпосылкам.

Причина, по которой невозможно отделить номенклатуру от науки и науку от номенклатуры, состоит в том, что каждая физическая наука необходимым образом состоит из трех частей: 1) из ряда фактов, которые образуют науку, 2) из представлений, которые они оставляют в нашей памяти; 3) из слов, которые выражают факты. Слово должно производить представление, а представление должно рисовать факт. Это три оттиска одной и той же печати; из того, что с помощью слов представления сохраняются и передаются, следует, что язык нельзя усовершенствовать, не совершенствуя одновременно и науку; как нельзя соответственно усовершенствовать науку, не улучшив языка. Следовательно, какими бы определёнными ни были факты, какими бы верными ни были порожденные ими представления, они будут давать лишь ложные впечатления, если у нас не найдется точных выражений, чтобы их выразить. (Из введения в систему антифлогистической химии Антуана Лавуазье (Lavoisier 1792).)

Лавуазье стремится улучшить науку не с помощью открытия новых фактов, но с помощью усовершенствования языка, в котором факты изначально выражаются, и в котором они должны быть правильным образом упорядочены. Как же выглядел этот язык, каким была суть его грамматического принципа, позволявшего выражать химические истины математическими формулами? Приведем обзор его сущностных свойств, ради простоты сформулированный анахронически. Сначала вещества теряют их исконно используемые имена и получают названия по их соединениям. Так, вода – это соединение водорода и кислорода, при этом в названии отражается даже соотношение объемов этих веществ:  $H_2O$ . Помимо этого, обозначение «кислород» уведомляет о функциональной особенности этого элемента – так, кислород считался

существенной частью любой кислоты, и потому – окислителем. Когда из этих имён или обозначений нужно образовать целые предложения, конструкция этих предложений следует «грамматическому» правилу сохранения массы, сформулированному Лавуазье. Тот, кто хочет описать химическую реакцию, должен привести своё выражение к равновесию до и после, должен придерживаться правила, согласно которому количество материи слева от знака равенства в реакции точно соответствует количеству материи справа от знака. В описании химической реакции ни при каких обстоятельствах не может утверждаться, что возникло что-то новое. Вместо этого во всех описаниях речь может идти только о преобразованиях, преобразованиях символов, которые соответствуют преобразованиям материи, при этом ничего не исчезает и ничего не прибавляется. Решение о том, является ли химическое предложение грамматически безупречным, в конечном итоге принимают весы. И как отмечает сам Лавуазье, тем самым число возможных предложений весьма сильно ограничивается: допустимы лишь такие гипотезы, которые претендуют на правдоподобные объяснения в строгом соответствии закону сохранения массы. (Так, Лавуазье хвалит свою новую химию за то, что она состоит теперь не из неопределённых проблем, которые можно решить тысячью способов. См. его „Elements of Chemistry“ (Lavoisier 1965).)

Протест Лихтенберга против языковой реформы Лавуазье и присущего ей догматизма известен. Идеальный язык Лавуазье хорош для некоторых случаев, но он не позволяет описать словами конкурирующую теорию и совсем не пригоден в научной полемике о преимуществах одной или другой теории. Тот, кто хочет пользоваться новым языком Лавуазье, должен вместе с ним принять и его теорию. Это «манифест в номенклатуре» (Lichtenberg 2003), который проясняет разницу между допустимыми гипотезами и недопустимыми полномочиями. «Гипотезы – это одобрения, номенклатуры – это полномочия». (Подробное изложение этой критики «французской химии» находится в разделе J 1686: «Насколько великолепны опыты французов, насколько они свидетельствуют о прогрессе человеческого духа, настолько же варварской является номенклатура. Я называю здесь варварским то, что свидетельствует о регрессе или стагнации человеческого духа. Именно дух, который в конце XVIII века учит нас сомневаться в существовании флогистона, должен учить нас не создавать новых имен. Чем помогут все знания о мире и людях, если мы вновь и вновь будем позволять себя дурачить и давать имена там, где они совершенно бесполезны. Явления не новы, новы лишь объяснения и полагания, а новые полагания не требуют нового языка, гораздо в большей степени необходимо как раз обратное, чтобы изложить их ясно, нужно

пользоваться уже принятым. [...]».) (Lichtenberg 2003) Лихтенберг приводит много аргументов против нового языка химии, среди них и такие, которые отвергают представление об улучшении науки с помощью улучшения языка и выделяют именно нефилософскую незавершенность и несовершенство языка в качестве адекватных свойств для утомительной работы по поиску истины.

«[...] Что есть вещи, раскрыть это – есть дело философии. Слово не должно быть дефиницией, но лишь знаком дефиниции, которая всегда представляет собой изменчивый результат совместного усилия исследователей, и он будет вечно оставаться в несчетном количестве предметов нашего мышления, так что мыслитель привыкнет больше не заботиться о знаке как о дефиниции. [...]» (Lichtenberg 2003).

### Погрешность против правдоподобия

Разумный муж может сказать «дважды два будет пять» (следовало бы сказать – может произнести), но никогда он этого не сможет подумать.

Поэтому я уже давно мечтаю о том, чтобы существовал такой язык, на котором невозможно было бы сказать ложь, или, как минимум, в котором любая погрешность против истины была бы также и грамматической.

Но само по себе это было бы, конечно, очень печально для многих ассамблей и обществ, для наших искренних заверений и комплиментов. Я полагаю, что там, где сейчас особенно много болтают, станет очень тихо, либо там будут кишеть грамматические ошибки.

Третий взгляд на еще более расширенное замечание Лихтенберга вовлекает в игру общество Гёттингена. Там, где обмениваются любезностями, где много болтовни, там царит тишина, потому что ничего не говорится. И эта тишина заполняется бессодержательной болтовней, неискренность которой ни для кого не является проблемой. Проговариваемое и невысказываемое в подобных ситуациях мыслится иначе. Дискурс вежливости использует ложь не в форме буквально ложных высказываний, а в силу нехватки интереса к фактической информации или нехватки потребности в истине.

Так, *ex negativo*, из иронической дистанции заявляет о себе возможность говорения, которую следует принимать всерьёз. Она осуществляется отдельно от полагания и не имеет отношения к высказыванию истины. Кто желает иметь язык, на котором ложь было бы невозможно грамматически корректно сформулировать, тот приходит к такому виду говорения, в котором погрешностью против грамматики было бы упорно настаивать на истинности или ложности легкомысленно брошенной фразы (здесь понятие «грамматики» расширяется до измерения языковой прагматики, в

котором речь идёт о том, что является уместным или неуместным в контексте определенных языковых игр, например, в высказывании комплиментов).

Намёк на неотменяемую ценность нефилософской речи обнаруживается в приведённой выше выдержке из текста, где прожженный эмпирик разрабатывает философский язык, в строгом смысле слова обозначающий только ощущения и данные органов чувств.

«[...] Мы чувствуем только для себя. Это утверждение звучит жестко, но оно не является таковым, если его правильно понимать. Не любят ни отца, ни мать, ни жену, ни ребенка, но лишь приятные ощущения, которые они нам доставляют. Это всегда льстит нашей гордости и нашему самолюбию. И иначе невозможно, а кто отрицает это утверждение, очевидно, его не понял. Однако наш язык в этой части обязан не быть философским точно так же, как он обязан не быть коперниканским при описании структуры Вселенной [...]» (Lichtenberg 2003).

Почему же в этой связи наш язык обязан не быть философским? Для начала, возможно, из вежливости по отношению к родителям и детям, для которых философски корректное выражение было бы слишком жестким. С точки зрения прагматики языка следующим обоснованием было бы то, что признания в любви могут обосновать и сохранить продуктивную иллюзию настоящих отношений – они содержат в себе обещание, что мы, вероятно, сможем выбраться наружу из тюрьмы своих – всегда только своих собственных – ощущений. Аналогия со структурой Вселенной Коперника позволяет сформулировать еще одно обоснование, связанное с критикой идеального языка химии Лавуазье: в этом месте наш язык обязан не быть философским, если он должен предоставлять пространство для мышления. Язык Коперника не знает восходов солнца. Слово «луна» этот язык использует в общем значении для любого спутника, а не как имя собственное для нашей земной Луны. Язык Коперника не знает твердых точек, из которых ведутся наблюдения: что и как нам является, не имеет твердой опоры в статической данности внешней действительности. Как бы ни был продвинут этот язык, в том числе и для обозначения структуры Вселенной, мы не можем заранее говорить так.

«Вначале человек должен верить, что Земля – это плоскость, а Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг нее и т.д. Если бы ему захотелось сказать: Земля движется, а Солнце стоит на месте [...], то это было бы осмысленным озарением, которое пришлось бы отнести к разряду фантазий» (Vermischte Schriften, 1806, p. 392–393).

Речь, конечно, идёт не только о том, что у самостоятельного мыслителя больше работы, если



он не начинает сразу с коперниканского языка, в котором геоцентрические погрешности против истины вообще не поддаются выражению, – взгляды Коперника должны каждый раз прорабатываться и присваиваться. В большей степени речь вообще идёт о том, чтобы иметь возможность говорить, не будучи связанным обязательством высказывать дословную и окончательную истину.

Третий взгляд на странное стремление к идеальному языку углубляет парадоксальную идею Лихтенберга о том, что мышление, то есть и фило-софствование, возможно только в языке нефилософии. Этот язык именно по причине свойственных ему недостатков есть язык мышления, то есть философии. Он – язык нефилософии, так как он не слишком хорошо сконструирован с точки зрения философских идей и правил, так как в него вписаны ложь и заблуждения, так как погрешность против истины в нём ни в коем случае не является одновременно и грамматической, и поэтому должна распознаваться и исследоваться в размышлениях и спорах. С одной стороны, философия вынуждена использовать столь несовершенный язык, с другой – посредством него она вообще становится возможной, особенно посредством доступных через язык пространств несобственной, ничего не высказывающей речи. Язык нефилософии есть потому язык философии, что он не обязан ничего высказывать, и потому, что мы в нём не обязаны полагать то, что говорим, потому, что он может выражать мысли, не ориентируясь на фактическую истинность высказывания, и тогда в нём не существует погрешностей против истины. Так выражаются освобождённые мысли, вводятся в игру и подвергаются анализу с первого, второго или третьего взгляда; таким образом мысль приводится в движение, способное обходиться без жестких ограничений.

Для нефилософского языка философствования речь идет не столько о погрешностях против истины, сколько о погрешностях против правдоподобия, то есть о том, выражаются ли мысли для включения в тот или иной порядок или же имеют место пустые безответственные утверждения и опровержения. Сочетания символов передают и то, и другое. И хотя нет четкого критерия, позволяющего отличить настоящую мысль от пустого утверждения, и в нефилософском языке можно отличать правдоподобную речь от легкомысленной болтовни. А именно, ничего не говорящая речь или говорение без полагания в изъяснительном наклонении ведет себя так, будто бы речь идёт о высказываниях, претендующих на нечто вроде истины для себя, сослагательное же наклонение маркирует область языка, в которой действие осуществляется гипотетически или экспериментально, в которой всё происходит с оговоркой «если бы так можно было сказать» или «что можно было

бы назвать». В сослагательном наклонении никогда не говорится о том, что есть на самом деле, а чего нет, но лишь о том, что могло бы иметь место при более или менее экстравагантных предположениях. Речь в сослагательном наклонении ни в коем случае не является пустой, в этом случае она была бы неискренней или не представляла бы интереса уже хотя бы потому, как «говорение» противопоставляется «выражению мыслей»: высказывающийся в сослагательном наклонении не говорит, что дела обстоят так или иначе, но экспериментирует с символами и идеями. Таким образом, правдоподобный интерес к истине может разворачиваться и в гипотетическом пространстве возможностей символических связей, и при этом даже способен однажды допустить, что два плюс два в сумме дают пять («Если какой-нибудь ангел захотел бы когда-нибудь порассказать нам кое-что из своей философии, то некоторые положения, я полагаю, звучали бы как  $2 \times 2 = 13$ » (Lichtenberg 2003)). Но и для нашей жизни верно, что мы можем соединить два отрезка веревки с двумя узлами на каждом, то есть связать их между собой, лишь так, что получается пять узлов).

Нефилософский язык философии был бы, следовательно, таким языком, в котором мысли становятся продуктивными, порождают при втором и третьем взгляде движение мысли – это и есть *rag excellence* афористический язык Лихтенберга, выражающий себя порой в эксплицитном, а порой и в имплицитном сослагательном наклонении (после того, как Стерн (см. выше) идентифицировал характерный для афоризмов Лихтенберга и для афористичного вообще второй взгляд с саморефлексивным употреблением языка, Альбрехт Шёне (см. выше) соотнес конъюнктивы Лихтенберга с научным (мысленным) экспериментом, и таким образом выявил существенное свойство афористического. Аргументация Стерна и Шёне была развёрнута далее в связи пониманием и употреблением языка Витгенштейном, его афористической рефлексией над произносимым в сослагательном наклонении (Nordmann 2005)). Он настолько же близок к эксперименту, насколько далёк от описания и высказывания. «Но да будет слово ваше: «да, да; нет, нет,» (Библия. Новый Завет. От Матфея. Глава 5, стих 37.), а что сверх этого, то не от зла, оно создает пространство самостоятельного мышления, которое, с одной стороны, придумывает себе идеальный язык философии, с другой тут же делает его относительным.

## References

Arntzen, H. (1971), Die exakte Subjektivität. Beobachtung, Metaphorik, Bildlichkeit bei Lichtenberg, in ders. *Literatur im Zeitalter der Information*, Frankfurt.

- Berendsohn, W. (1912), *Stil und Form der Aphorismen Lichtenbergs*, Kiel, Germany.
- Gabriel, G. (1991), *Zwischen Logik und Literatur - Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie und Wissenschaft*, Stuttgart, Germany.
- Lichtenberg, G.C. (2003), *Aphorismen und andere Sudeleien*, Ulrich Joost (ed.), Stuttgart, Germany.
- Gockel, H. (1973), *Individualisiertes Sprechen*, Lichtenbergs Bemerkungen im Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Sprachkritik, Berlin/NewYork.
- Gray, R. (1986), Aphorism and Sprachkrise in Turn-of-the-Century Austria, *Orbis Litterarum*, vol. 41, pp. 332–354.
- Janik, A.S. and Toulmin, S. (1984), *Wittgensteins* Wien, Wien.
- Krüger, H. (1956), *Studien über den Aphorismus als philosophische Form*, Frankfurt.
- Lavoisier, A. (1792), *System der antiphlogistischen Chemie*, Berlin und Stettin.
- Lavoisier, A. (1965), *Elements of Chemistry*, New York.
- Lichtenberg, G.C. (1794), *Vorrede zur sechsten Auflage von Erxlebens Anfangsgründe der Naturlehre*, Göttingen.
- Mautner, F.H. (1976a), *Der Aphorismus als literarische Gattung in Der Aphorismus*, Gerhard Neumann (ed.), Darmstadt.
- Mautner, F.H. (1976b), *Maxim(e)s, Sentences, Fragmente, Aphorismen in Der Aphorismus*, Gerhard Neumann (ed.), Darmstadt.
- Neumann, G. (1976), *Ideenparadise. Untersuchungen zur Aphoristik von Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schlegel und Nietzsche*, München.
- Nordmann, A. (2005), *Wittgenstein's Tractatus: An Introduction*, Cambridge.
- Rapic, S. (1999), *Erkenntnis und Sprachgebrauch: Lichtenberg und der Englische Empirismus*, Göttingen.
- Requadt, P. (1948), *Lichtenberg: Zum Problem der Aphoristik*, Hameln.
- Roggenhofer, J. (1992), *Lichtenbergs Sprachdenken*, Berlin.
- Schöne, A. (1982), *Aufklärung aus dem Geist der Experimentalphysik. Lichtenbergsche Konjunktive*, München.
- Stern, J.P. (1959), *Lichtenberg. A Doctrine of Scattered Occasions Reconstructed from his Aphorisms and Reflections*, Bloomington.
- Szczesniak, D. (2007), *Zum Aphorismus der Wiener Moderne - Arthur Schnitzler; Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus*, Stuttgart.
- Vermischte Schriften, Bd. 9: Georg Christoph Lichtenbergs physikalische und mathematische Schriften* (1806), Göttingen.
- Wittgenstein, L. (2000), *The Big Typescript*, Wien.
- Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics* (1976), Cora Diamond (ed.), Ithaca.

Submitted: 18.10.2021

Revised: 02.12.2021

Accepted: 21.12.2021